

Владимир Гиляровский

На Хитровке



Часть сборника
Москва и москвичи (сборник)



Владимир Алексеевич Гиляровский

На Хитровке (Люди театра)

«В 1883 году И. И. Кланг начал издавать журнал „Москва“, имевший успех благодаря цветным иллюстрациям. Там дебютировал молодой художник В. А. Симов. С этого журнала началась наша дружба. В 1933 году В. А. Симов прислал мне свой рисунок, изображавший ночлежку Хитрова рынка. Рисунок точно повторял декорации МХАТ в пьесе Горького „На дне“...»

Владимир Гиляровский На Хитровке

В 1883 году И. И. Кланг начал издавать журнал «Москва», имевший успех благодаря цветным иллюстрациям. Там дебютировал молодой художник В. А. Симов. С этого журнала началась наша дружба. В 1933 году В. А. Симов прислал мне свой рисунок, изображавший ночлежку Хитрова рынка. Рисунок точно повторял декорации МХАТ в пьесе Горького «На дне».

На рисунке дата и надпись: «Дорогому другу дяде Гиляю, защитнику и спасителю души моей, едва не погибшей ради углубленного изучения нравов и невинно извлеченной из недр хитровской ночлежки ради „Дна“ в МХАТ в лето 1902 года. В. Симов».

Рисунок В. А. Симова напомнил мне эпизод в ночлежке, населенной людьми театра.

В начале восьмидесятых годов в Москве были только две театральные библиотеки. Одна – небольшая, скромно помещавшаяся в мебелированных в доме Васильева, в Столешниковом переулке, а другая, большая – на Тверской.

Первую содержал С. И. Напойкин, а вторую – С. Ф. Рассохин. Первая обслуживала

главным образом московских любителей и немногих провинциальных антрепренеров, а вторая широко развернула свое дело по всей провинции, включительно до Сибири и Кавказа. Печатных пьес, кроме классических (да и те редко попадались), тогда не было: они или переписывались, или литографировались. Этим специально занимался Рассохин. От него театры получали все пьесы вместе с расписанными ролями.

Библиотека на Тверской была в бельэтаже; филиальное же отделение, где велась вся переписка, помещалось в грязнейшей ночлежке Хитрова рынка, в доме Степанова. Здесь в нижнем этаже ютился самый разбойничий трактир «Каторга»... А в надворном флигеле, во втором этаже, в квартире номер шесть, состоявшей из огромной комнаты, разделенной сквозной дощатой перегородкой, одну половину занимали нищие, а другую – переписчики Рассохина. Они работали в экстренных случаях ночи напролет.

Огромнейшие деньги получала библиотека, наживая с заказчиков в десять раз больше, чем платила своим «писакам», как их зва-

ли на Хитровке.

За расписывание ролей они получали по тридцать пять копеек с акта, а акты бывали и в семь листов и в десять. Работа каторжная, в день можно написать шесть-семь листов, не больше. Заработок в день выходил от двадцати до тридцати копеек, а при самых выгодных условиях, то есть при малых актах, можно было написать копеек на сорок.

– Если пишем с листа, – рассказывал хитрован, бывший суфлер, – то получаем по пять копеек за лист, и тоже более восьми листов не напишешь. Эту работу мы считаем выгодною и очень рады, когда она нам попадается, но это бывает редко. Вся беда в том, что работа у нас не постоянная – нынче, завтра кое-что, а там дня два ничего нет. Куда хуже нищих! Они в другой половине нашей квартиры живут. Не житье им, а малина. Раза три в день пьяны бывают, выспятся и опять лопают. И кусочки им подают с купеческого стола, и одеты тепло – даром, что с виду лохмотья. День гуляют, а ночью дрыхнут так, что писать нам нельзя, – от воздуха лампа гаснет. А мы сидим босые и полуголодные и никак на

одежонку не соберем... И покупать уж не стараешься – все равно пропьем. Я только что вырвался оттуда, дядя вчера нашел меня там босым, в одной рубашке, сводил в баню, постриг, как видишь. Послезавтра еду с ним в Казань – он меня в театр опять пристроит. Там суфлер плохой.

– Может быть, ты меня сведешь? – спросил я его.

– Никак нельзя... Как попаду, опять застряну. Оттуда выхода нет: придется все пропить, там не выпустят... Со мной уже это бывало. А ты обязательно сходи. Придешь, увидишь, за столом сидят, или едят, или водку пьют. Прямо к ним. Спроси там старшего, Ивана Артемьевича, скажи, что тебя из библиотеки прислали, просят работишку дать тебе... Да оденься как можно похуже. Иван Артемьевич у нас выборный, потрезвее других. Библиотека ему сдает на руки работу, ему и деньги уплачивает, а он уж рассчитывается с нами: все деньги делим поровну, а ему сорок копеек за ходьбу с каждой получки даем, кроме заработной доли.

На другой день, в воскресенье, я пошел на

Хитровку под вечер. Отыскал дом Степанова, нашел квартиру номер шесть, только что отворил туда дверь, как на меня пахнуло каким-то отвратительным, смешанным с копотью и табачным дымом, гнилым воздухом. Вследствие тусклого освещения я сразу ничего не мог разобрать: шум, спор, ругань, хохот и пение – все это смешалось в один общий гул и настолько меня поразило, что я не мог понять, каким образом мой приятель суфлер попал в такую ужасную трущобу.

Мой приход никого не удивил, и никто не любопытствовал о цели моего появления. Я стал осматриваться: это была огромная квадратная комната в пять окон; вокруг стен были сплошные нары, и на них в самых неприличных позах кто сидел, кто лежал; некоторые чинили свои отрепья. Соседняя ночлежка, нищенская, была еще хуже. Там под нарами, на разостланных на полу грязных рогожах, ютились преимущественно женщины; тут же, на протянутых над нарами веревочках, сушились грязные тряпицы, юбки и другие принадлежности женского туалета. Пол был отвратительно грязен и блестел от мок-

роты. Нога ступала в мокрую грязь так же мягко, как на улице. Посреди комнаты за большим столом, под висячей лампой, сидело человек шесть, и казалось, они очень спешили сшивать какие-то тетради. Я подошел к столу и спросил об Иване Артемьевиче.

– Он болен, – усмехнувшись, ответил мне маленький рыженький человечек с быстрыми плутовскими глазками. – Нынче он не выходил из своих апартаментов, но труп его можете узреть вон там налево, под нарами, откуда – слышите? – раздается богатырский храп.

– Он справляет байрам, – пояснил мне другой, сидевший в темной рубашке с оторванным по локоть рукавом, – и если он вам нужен и вы в состоянии поднести ему стаканчик жизненного эликсиру, то он сейчас же явится к вам.

– Я послан к нему из библиотеки, – объяснил я, – и желал бы узнать относительно условий переписки.

– Ну, насчет этого вы сегодня вряд ли что узнаете, потому что Иван Артемьевич, говоря откровенно, нынче пьян; да и вообще, судя по

вашему обличью – костюму, – вы не согласитесь работать с нами.

В это время подошел к столу высокий мужчина с усами, с лицом безжизненного цвета, одетый в коротенькую, не по росту, грязную донельзя рубашку, в таких же грязных кальсонах и босиком. Волосы его были растрепаны, глаза еле глядели из-под опухших красных век. Видно было, что он со страшного похмелья и только что встал от сна.

– Кто пришел из библиотеки? – спросил он хриплым голосом. – Деньги принесли? У кого деньги? Давайте порционные!

Между сидевшими за столом раздался смех. Высокий человек направился ко мне. Я в нерешительности хотел было отступить, но он, обходя стол, поскользнулся и, падая, задел меня.

– Ах, pardon, – проговорил он, вставая с полу и протянув ко мне свои мокрые от грязи руки, – я это нечаянно. Мне послышалось, что кто-то пришел из библиотеки, я и думал получить свои порционные.

Мне не хотелось говорить с пьяным, и, к моему удивлению, кто-то из-под нар отозвал

этого господина к себе. Через минуту он уже пел, сжимая в руках стакан с водкой:

*Всему на свете мера,
Всему есть свой конец,
Да здравствует мадера,
Веселие сердец.*

– Кто это? – спросил я. – Знакомый голос!

– Один актер-любитель из дворян. Второй год у нас околачивается... Три раза брали его родные, одевали, как барина, а он опять к нам... Говорит на всех языках. В Париже прокутился... Пишет хорошо.

«Кто же это? Неужели...» – мелькало в памяти. Перебила рассказ безногая нищенка: она высыпала на стол из мешка гору корок, ломтей черного хлеба и объедков пирогов.

– За все гривенник!

– Мы у нищих хлеб покупаем, втрое дешевле лавочного. Окуски пирогов попадают... Вот, глядите, ватрушки уголок.

– Здесь и обедаете?

– Куда же мы, голые, пойдём? Одни опорки на четверых. У съемщицы харчимся, обед из четырех блюд четыре копейки, каждого кушанья на копейку; щей, супу, картошки и две

каши. Хлеб свой, вот этот. За ночлег – пятак. Верит до получки. Сейчас деньги из библиотеки пришлют – разочтемся...

Мы смотрели на пляску пьяных нищих. Безногая топотала в стоптанных башмаках, развевая над головой рваным платком, а за ней, петушком, петушком, засеменял босой нищий, бросив свои два костыля на нары и привизгивая:

*Ходи, барыня, смелей,
Музыканту веселей...*

Потом явился из соседней ночлежки гармонист, и разноголосый хор заорал свою любимую:

*Пьем и водку, пьем и ром,
Завтра по миру пойдём...*

Изорин спал поперек нар, один опорок свалился на пол. Так и не пришлось мне поговорить со старым товарищем по сцене: когда я зашел через месяц, его опять разыскали друзья и увезли.

* * *

После этого первого посещения я стал иногда заходить к «писакам», и, если друзья про-

сили меня показать им трущобы, я обязательно водил их всегда сюда, как в самую скромную и безопасную квартиру, где меня очень уважали, звали по имени-отчеству, а иногда «дядя Гиляй», как я подписывался в журналах и газетах.

На Хитровке, в ее трех трактирах, журналы и газеты получались и читались за столами вслух, пока совсем истрепляются. Взаос читалась уголовная и судебная хроника (особенно в трактире «Каторга»), и я не раз при этом чтении узнавал такие подробности, которые и не снились ни следователям, ни полиции, ни судьям. Меня не стеснялись, а тем, кто указывал на меня, как на чужого, говорили:

– Это наш, газетчик, он не лягнет.

На «Каторгу», к переписчикам, я водил раз Т. Л. Щепкину-Куперник.

Я познакомился с Татьяной Львовной за кулисами театра Корша. Она играла гимназиста и была очень хорошеньким мальчиком. В последнем антракте, перед водевилем, подошла ко мне вся сияющая, счастливая успехом барышня, и я сразу не узнал после гимназиче-

ского мундира Т. Л. Щепкину-Куперник.

Спустя долгое время я с ней встретился в Малом театре. Она, начитавшись моих статей о трущобах, просила показать ей их и пригласила меня зайти к ней. Она занимала маленький флигелек по Божедомке вдвоем с артисткой Терьян и прислугой. Три небольшие уютные комнатки: картины, безделушки, портреты писателей. Вечера веселья, небольшой кружок одних и тех же знакомых молодых артисток. Пение, музыка и чтение. И только дамское общество. Я любил бывать там. Просьбу показать ей Хитровку я все отклонял – не хотелось ее окунать в грязь, но, наконец, уступил.

Татьяна Львовна одела очень скромную шубку, на голову дешевый шерстяной платок, а на ноги валенки. Я решил ей показать только переписчиков. Пока мы шли рынком мимо баб, торговавших с грязными фонарями на столах разной «благоухавшей» снедью, которую пожирали оборванцы, она поражалась и ужасалась. Да еще бы не ужасаться, после ее обычной жизни в уютном флигельке!

А тут:

– Иди, на грош горла отрежу.

– Тухлая.

– А тебе за семитку-то с лимоном? Пошел...

Дальше пьяная ругань и драка.

В трактире «Каторга» дерутся. Кого-то вышибают за дверь. Звон стекол... Вопли о помощи...

Мы исчезаем в темном проходе, выбираемся на внутренний двор, поднимаемся во второй этаж, я распахиваю дверь квартиры номер шесть. Пахнуло трущобой. Яркая висючая лампа освещает большой стол, за которым пишут, согнувшись, косматые, оборванные, полураздетые, с опухшими лицами, восемь переписчиков.

Подняли головы и радостно меня приветствуют.

– Мешать не буду... я вот зашел с молодой писательницей – показать ей, как ее пьесы переписывают.

Встали, кланяются.

– Очень рады... Мы уж кончили, последнюю страничку... А кто она? – спрашивает старик из военных писарей.

– Щепкина-Куперник.

– Твердо-люди! [1] Недавно переписывали!

– Да, Татьяна Львовна.

И все внимание обращено на нее. Усадили. Разговаривают о пьесах, о театре. В соседней комнате за дощатой перегородкой ругаются и спорят пьяные нищие...

* * *

Шли годы. Шагнули в двадцатое столетие. М. Горький ставил «На дне», и меня В. И. Немирович-Данченко просил показать Хитровку для постановки пьесы. Назначен был день «похода», и я накануне зашел узнать, в той ли еще они квартире. Тот же флигель, та же квартира во втором этаже, те же лампочки-коптишки у нищих и большая висячая лампа с абажуром над рабочим столом. Кое-кто из стариков цел, но уже многих нет.

Работы в этот день не было. За столом сидел голый старик и зашивал рубаху. Мы были знакомы по прежним встречам на Хитровке. Съемщица квартиры подала нам запечатанную белую бутылку водки «смирновки». Обыкновенно подавала она сивуху в толстых шампанских бутылках: они прочнее.

А перед нами

Скрестивши могучие руки,
Главу опустивши на грудь,
глядя на нас жадным взором, – стоял в од-
ном нижнем белье и в опорках положитель-
но Аполлон Бельведерский. Он был выше
всех на голову, белые атлетические руки, на
мизинце огромный холеный ноготь, какие то-
гда носили великосветские франты.

– Пригласи «барина», – шепнул мне мой то-
варищ и поманил его рукой.

С улыбкой сквозь красивые усы и бородку
он крепко пожал мне руку, сделал легкий по-
клон, щелкнул опорками пятку о пятку, как,
по-видимому, привык делать в сапогах со
шпорами, и отрекомендовался: поручик По-
пов. Думаю, что это был псевдоним. Уж очень
он на меня свысока смотрел. Но когда мы вы-
пили по четвертому стаканчику, закусывая
соленым огурцом, нарезанным на газете, с ку-
сочками печенки, он захмелел, снизошел до
меня и разговорился.

– А знаете, – обратился он ко мне, – вот
здесь мы с вами водку пьем, а я чрез неделю
должен был баллотироваться в уездные пред-
водители дворянства, и мое избрание обеспе-

чено. Мой отец губернский предводитель, уважаемая личность...

Я слушал, глядя на него: верю, мол.

– Кроме отца, никто не знает, что я старый хивинец. Я здесь третий раз. Раз прожил на Хиве полгода, тоже пьесы переписывал. Отец разыскал и привез домой. Через год я опять попал сюда – и год прожил. Отец опять увез к себе в имение, и я уж было дома привык. Занимался хозяйством, танцевал, охотился, запои мои прекратились совершенно. Решил баллотироваться, а потом жениться. Я считался завидным женихом. Поехал на месяц в Крым и там, кроме легкого вина, ничего не пил. И вот, возвращаюсь из Крыма. Билет был прямо до Петербурга. Камердинер поехал с вещами в купе, а я пошел пешком с Курского к Николаевскому вокзалу.

Поезд отходит через два часа, в одиннадцать ночи. Пошел в «Славянский базар» поест да с Лубянской площади вдруг и повернул на Солянку. Думаю: зайду на Хиву, в «вагончик», где я жил, угощу старых приятелей и прямо на курьерский, еще успею. А на другой день проснулся на нарах в одной рубашке...

Друзья подпустили ко мне в водку «малинки». Даже сапог и шпор не оставили... Как рак мели. Теперь переписываю пьесы – и счастлив.

Надо заметить, что он слегка картавил, заменяя букву «р» по-аристократически «г», пересыпал речь французскими словами, чокаюсь, говорил «прозит» или «ол райт» – у него выходило «оль гайт».

Он, видимо, захмелел.

– Ничего, приедет отец, выручит, – сказал я.

– К черту! Опять ходить по струнке! Настоящая жизнь здесь. Ведь это прелесть что такое: ничем не стеснять ни себя, ни других, распустить себя до состояния дикого человека, чувствовать себя во всех действиях свободным. Ведь это роскошь! *C'est superbe!*

Он встал во весь рост, покачнулся, красивым жестом поднял стакан, сделал им приветственный полукруг, обвел всех сияющими глазами, чокнулся со мной и, грассируя, с улыбкой произнес:

– Алаверды!

* * *

От переписчиков я зашел в трактир «Каторга». Меня встретил буфетчик Семен Васильев, которого я знал здесь еще мальчишеским-половым.

На моих глазах он превратился в буфетчика. Одет в пиджак, через шею серебряная цепь с передвижной подковой, с голубой эмалью, которую я еще помню на его хозяине Кулакове лет двадцать назад: это хозяйский подарок. Семка увел меня в свою каморку за посудным шкафом, принес бутылку елисеевского портвейна, две рюмки и пару антоновских яблок.

Семка был здесь много лет моим «собственным корреспондентом» и сообщал все тайные новости Хитрова рынка, во-первых, потому, что боялся меня, как бы я не «продернул» в газетах трактир, а во-вторых, потому, что просто «обожал» писателя. Словом, это был у меня свой человек. Он старался изо всех сил рассказать всегда что-нибудь интересное, похвастаться передо мной своим всезнайством.

Ему давно было известно, что у меня много знакомых среди самых отчаянных обитате-

лей подземелий «Утюга» и «Старого оврага», с которыми я за «семикаторжным» столом его трактира не раз водку пивал: и Беспалый, и Зеленщик, и Болдоха, и Степка Махалкин, родной брат Васьки Чуркина, меня не стеснялись, сами мне давали наперебой материал и гордились, перечитывая в газетах свои сообщения, от которых полиция приходила в ужас.

Из-за этого и сам трактирщик Кулаков меня подобострастно принимал, а уж Семка прямо в нитку передо мною тянулся. Он первым делом заявил мне, что теперь служит на отчете, а хозяин живет в своем имении и редко приезжает. Рассказывал о старых общих знакомых – кто сослан, кто на высидке, кто где «дельце обделал». Во время рассказа он на минутку отрывался к кассе получать деньги.

– А вчера ночью обход был... Человек двести разной шпаны набрали. Половина нищие, уже опять вернулись, остальные в пересыльной сидят... и эти придут... Из деловых, как всегда, никого – в «малине» отсиделись. А было что взять: с неделю назад из каторги вернулся Болдоха, а с ним Захарка... Вместе

тогда за убийство судились и вместе бежали... Еще его за рост звали «Полтора Захара, с неделю ростом, два дни загнулось». Вы помните их?

– Болдоху хорошо знаю. Он мне сам рассказывал о Гуслицком сундуке, а я с его слов напечатал подробности... Небольшой, с усами, звали Сергей Антонов, помню...

– Теперь не узнаете. Носит подвесную бороду, а Безухий и ходит и спит, не снимая телячьей шапки с лопастями: ухо скрывает. Длинный, худющий, черная борода... вот они сейчас перед вами ушли от меня втроем. Злые. На какой хошь фарт пойдут. Я их, по старому приятству, сюда в каморку пускаю, пришли в бедственном положении, пока что в кредит доверяю. Болдохе сухими две красненьких дал... Как откажешь? Сейчас!

Вернувшись от кассы, сказал:

– Приодеться надо, ищут фарта, да еще не наклеывается. Харчатся и спят у Бардадыма.

– Это в вашем «Утюге», в подвале?

– Да, бывшая ночлежка. Золотого... там сокровенно, туда лягавые не сунутся.

– Знаю, ход со двора, внизу. А постарел Бол-

доха?

– Нет, все такой же бык, только седой, а бороду добыл рыжую.

* * *

Выйдя на площадь, под фонарем, я увидел оборванца, лицо которого показалось мне знакомым.

– Игнат, – окликнул я, – ты как попал?

– Как всегда, запил на две недели, запой прошел, а я уж месяц в Кулаковке околачиваюсь, не в чем на место явиться.

Обрадовался мне, слезы на глазах.

– Завтра утром заходи ко мне, я тебя одену.

– Не могу в этом виде днем. Позвольте вечером.

– Завтра вечером меня не будет дома, приходи послезавтра, а пока держи рублевку на харчи.

Мы расстались. Игната я давно знал. Он был коридорным в номерах Фальцфейна на Тверской. Честнейший человек, хотя знался с самыми что ни на есть разбойниками Хитрова рынка, куда два раза в год попадал: запьет, в пьяном виде сейчас же на Хитровку, в излюбленную ночлежку. Через две недели за-

пой проходит, и если хитрованские друзья сработают какой-нибудь фарт, то приоденут его, и он снова на службе. Его излюбленное место было в ночлежке Бардадыма и у шулеров, которые обыгрывают по притонам и по рынкам в «черную и красную» или «три листа». Сам же он в карты никогда не играл.

* * *

На другой день, как мы условились раньше, я привел актеров Художественного театра к переписчикам. Они, раздетые и разутые, сидели в ожидании работы, которую Рассохин обещал прислать вечером. Лампа горела только в их «хазе», а в соседней было темно: нищие с восьми часов улеглись, чтобы завтра рано встать и идти к ранней службе на церковную паперть.

Радость, когда я привел таких гостей, была неописуема. Я дал пять рублей, хозяйка квартиры подала нам «смирновки», а другим сивухи. По законам ночлежки водку обязаны покупать у хозяйки – это ее главный доход. Водка, конечно, всегда разбавлена водой, а за «смирновку» в запечатанном виде платилось вдвое.

Художник В. А. Симов с карандашом и альбомом и еще кое-кто сели за стол, а кто и стоял. Щегольские костюмы и рвань. Изящный В. И. Немирович-Данченко блистал своей красиво расчесанной бородой и с кем-то разговаривал.

В высокомерной позе, на том же самом месте, как и вчера, с красиво поднятым стаканом, полураздетый, но гордый, стоял рядом с К. С. Станиславским мой вчерашний собеседник – оба одного роста. Все «писаки» были еще совершенно трезвы, но с каждым стаканом лица разгорались и оживлялась беседа.

– Приветствую вас у себя, дорогие гости, – грассировал «барин», обращаясь к К. С. Станиславскому и обводя глазами других. – Вы с высоты своего театрального Олимпа спустились в нашу театральную преисподнюю. И вы это сделали совершенно правильно, потому что мы тоже, как и вы, люди театра. И вы и мы служим одному великому искусству – вы как боги, мы как подземные силы... Ол райт!

Он хлопнул залпом стакан.

К. С. Станиславский стал с ним говорить, перемешавшиеся лохмотья и шикарные ко-

стюмы склонились над столом и смотрели на рисунок Симова, слышались возгласы одобрения, только фигура чайки вызвала сомнение. Нешто это птица?

Ночлежка нищих нестерпимо зловонила и храпела. Я нюхал табак, стоя у двери, и около меня набралось человек десять любопытных из соседней ночлежки. Вдруг меня кто-то тронул за руку:

– Угостите табачком.

Оглядываюсь – Игнат. Он значительно смотрит на меня и кладет четыре пальца себе на губы. Жест для понимающего известный: молчи и слушай. И тотчас же запускает щепоть в тавлинку, а рукой тихо и коротко держает меня за рукав. Это значит: выйди за мною. А сам, понюхав, зажав рот, громко шепчет: «Ну, зачихаю», – и выходит в коридор. Я тоже заряжаю нос, закрываю ладонью, чтобы тоже не помешать будто бы чиханьем, и иду за Игнатом. Очень уж у него были беспокойные глаза.

– Владимир Алексеевич, выкидывайтесь скорее с вашими гостями отсюда, да скорее, сей минутою, а то беда.

– Что такое?

– Жизнью вы все рискуете! Уводите своих... Вам накроют темную, будет драка, вас разденут. Ну, уходите. Как я уйду, так и вы за мною все...

Дальше в коротких словах он рассказал, что к ним в «малину» под ночлежкой Бардадыма пришел один «фартовый» и сказал, что к писакам богатые гости пришли. Болдоха из «Каторги» сразу шепчет соседу – Дылдой звать: «Ты, Дылда, как мы войдем и я тебе мигну, лампу загаси, и мы „темную“ накроем».

– Это он сказал тому беглому, что с собой из каторги привел, а меня послал: «Сейчас, Игнашка, погляди, что и как и стоящее ли дело». Уходите, я бегу, меня ждут... – и нырнул на лестницу.

Я на минуту задумался: врет или не врет Игнашка?

Я уверен, что он не врет, но, может, преувеличивает. Я решил все-таки увести гостей и с этими мыслями пошел в ночлежку.

Вдруг слышу – по лестнице идут несколько человек, и сквозь решетку перил под лампой

показалась длинная фигура в оленьей шапке. Подобные шапки носили в Вологде зыряне. Борода у него черная, как описал мне буфетчик. Да, это Безухий, которого называл Болдоха Дылдой. А вот и широкая, приземистая фигура Болдохи с бородой на боку.

Уходить поздно. Надо находить другой выход. Зная диспозицию нападения врага, вмиг соображаю и успокаиваюсь: первое дело следить за Дылдой и во что бы то ни стало не дать потушить лампу: «темная» не удастся, при огне не решатся. Болдоха носит бороду – значит, трусит. Когда Болдоха меня узнает, я скажу ему, что узнал Безухого, открою секрет его шапки – и кампания выиграна. А пока буду следить за каждым, кто из чужих полезет к столу, чтобы сорвать лампу. Главное – за Дылдой.

К. С. Станиславский все еще разговаривает с «барином». Бутылка сивухи гуляет по рукам толпящихся у двери. Это набежали любопытные из соседней ночлежки, подшибалы и папиросники, – народ смирный, а среди них пьяный мордастый громила Ванька Лошадь. Он завладел шампанкою, кое-кому плеснул в

стаканчик, а сам, отбиваясь левой рукой, дует из горлышка остатки.

Около В. А. Симова шум, кто-то задорным голосом упрекает его:

– Нешто это мой потрет? Пачиму такое одна щека черная? Где она у меня черная? Где? Гляди!

Кто за художника, кто за того... Голоса слились в споре. А пятеро «утюгов» с деловым видом протиснулись ближе и встали сзади налегших на стол спорщиков. На них никто никакого внимания: не до того – на столе водка.

Болдоху я бы и не узнал, если бы не привесная борода, которую он то и дело поправлял. Я его помню молодым парнем с усами: бороду брил, щеголь. Зато сразу узнал несуразного Дылду по его росту и шапке с ушами.

Я делал вид, что слушаю разговоры, а сам следил из-за чьей-то спины за «утюгами». Перешептываются, и глаза их бегают и прыгают по костюмам гостей: они делят заранее, кому и кого атаковать. Болдоха толкает в спину Безухого; тот боком, поднимаясь на носки, через плечи наклонившихся над столом, заглядывает на В. А. Симова, а сам подвигается впе-

ред к лампе. Потом встал сзади тех, что навалились на стол со стороны нищенской перегородки со стоявшей вдоль нее широкой скамьей. Кое-кто стоит на ней коленами. Черная борода тихо подвигается над ними, болтаются желтые лопасти шапки. Там шумят и пьют водку. «Барин» со стаканом в руках что-то проповедует. А отдельно стоящие «утюги», видимо, волнуются и зыркают глазами. Только Болдоха исподлобья смотрит будто на пол и невозмутимо подкатывает внутрь длинные рукава рваного полушубка. Но центр внимания кучки и мой – Безухий, замерший в стойке над лампой, как собака над дичью. Все дело – в нем.

Если схватить и оттащить его – затеется борьба, в это время кто-нибудь из кучки успеет, пользуясь суматохой, погасить лампу, – и свалки не миновать. Единственный исход – бесшумно уничтожить гасителя Дылду, а Болдоху – словом ушибить. Безухий уперся пальцами откинутой правой руки в перегородку, чтобы удержать равновесие, потянувшись левой к лампе. Грудь открыта... шея вытянута... Так и замер в этой позе.

За столом галдеж. На В. А. Симова навалились с руганью. Кто за него, кто против. Он испуганно побледнел и съежился. Ванька Лошадь с безумными глазами бросился к столу, бешено замахнулся над головой В. А. Симова бутылкой. Я издали только успел рявкнуть:

– Лошадь, стой!

Но в этот же миг сверкнула белая рука в рваном рукаве, блеснул длинный холеный ноготь мизинца. Как сейчас я вижу это и как сейчас слышу среди этого буйства спокойное:

– Pardon! – Бутылка уже была в руках «барина». А под шум рука Дылды уже у лампы. Я отдернул его левой рукой на себя, а правой схватил на лету за горло и грохнул на скамью. Он – ни звука.

– Затырсь! Если пикнешь, шапку сорву. Где ухо? Ни звука, а то...

Все это было делом одного момента. Мелькнули в памяти моя бродяжная жизнь, рыбинский кабак, словесные рифмованные «импровизации» бурлака Петли, замечательный эффект их, – и я мгновенно решил воспользоваться его методом.

Я бросился с поднятым кулаком, встал ря-

дом с Болдохой и строго шепнул ему:

– Бороду сорву. – И, обратясь к центру свалки, глядя на Ваньку Лошадь, который не мог вырваться из атлетических рук «барина», зарорал диким голосом: – Стой, дьяволы!.. – и пошел, и пошел.

Импровизация Петли с рядом новых добавлений так гремела, что даже разбудила нищих. А между новыми яркими терминами я поминал родителей от седьмого колена, шепча Болдохе:

– Степку Махалкина помнишь?...

– Тра-та-та...

– А Беспалова?... А дьяконову кухарку на Кисловке?...

– Тра-та-та...

– А золото Савки? А Гуслицкий сундук?

– Мерзлую собаку...

– Ну, узнал ты меня, что ли, Антон?

Он глядит на меня безумными глазами, скривившаяся борода трясется.

– А Золотого? Помнишь, как его я прописал? Бороду поправь!

– Дядя? Это ты...

– Ну, и заткнись! К вам, сволочи, своих дру-

зей, гостей привел, а вы что, сволота несчастная? А еще люди! Храпаидолы! Ну?!

Все стихло. Губы у многих шевелились, но слова рвались и не выходили.

– Не бойсь, не лягну, – шепнул я Болдохе... и закатился финальной тирадой, на которую неистовым голосом завизжала на меня нищенка, босая, в одной рубахе, среди сгрудившихся и тоже босых нищих, поднявшихся с логова:

– Окстись! Ведь завтра праздник, а ты... – и тоже меня руганула очень сочно.

Я снял с головы шапку, поклонился ей в пояс и весело крикнул:

– С праздничком, кума!

– Бгаво... бгаво... – заплодировал первым «барин», а за ним переписчики, мои актеры, нищие и вся шатия, вплоть до «утюгов», заразилась их примером и хлопала в первый раз в жизни, не имея понятия о том, что это выражение одобрения.

Позднее столица восторгалась пьесой Горького и вызывала художника В. А. Симова за декорации, которые были точнейшей копией ночлежки Бардадыма, куда я его водил

еще не раз после скандала у переписчиков.

Примечания

Ее инициалы по-славянски.

[^^^]